

На встрече с Альбертом Лихановым, которая прошла в ноябре 2017 года в Уральском федеральном университете, роман «Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени» предлагалось купить и в виде объёмной книги. Но я удовольствовался подарком – сдвоенным номером журнала «Путеводная звезда», где он был опубликован в конце 2016 года. Может быть, именно потому мне показалось, что это просто большая повесть, и называть её главы отдельными повестями не стоило.

С другой стороны, журнал, как гласит его подзаголовок, предназначен для школьного чтения. А современные клиповые привычки читателя, с напряжением осиливающего «много букв», предполагают весьма частое дробление текста. Возможно, именно этому и следовали автор и редакция.

Впрочем, про жанр и читательские привычки – скорее для разгона, разминки. Ибо беллетризованные воспоминания и размышления автора о поре своей учёбы в Свердлов-

ске весьма побуждают к сопоставлению. И к тому, чтобы положить на бумагу часть того, что и в каком виде задержалось в голове из менее далёкого прошлого. Хотя для собственных мемуарий, может быть, ещё и рановато...

За дворцовыми окнами

По первому разу пробежал лихановский текст почти немедля. Как-никак, про учёбу автора на нашем родимом журфаке. Тогда, впрочем (действие приходится на 1953-1958 годы), это ещё было отделение журналистики историко-филологического факультета Уральского госуниверситета, УрГУ.

Требуется, видимо, ещё одна оговорка: поскольку роман, то личности его героя и автора следует разделять. Но если судить по словам самого Лиханова, к вымыслу он прибегал не особо, обдумывая и описывая именно то, чем и как жил в собственное студенческое время. Равно как и совпадению своего персонажа по имени и фамилии с известным советским разведчиком – Николай Кузнецов – значения не придаёт. Даже напротив: обычное, мол, сочетание.

У меня совпадения нынче другие – с биатлонистом из Латвии, например. А история отчасти та же: приехал в Свердловск из другого города и поначалу прожил в нём пять студенческих лет – в общежитии, зачастую впроголодь... Случилось это, правда, почти на 30 лет позже – в 1981-1986 годах. Тем интереснее было сравнивать.

Напряжённость с билетами на поезд летом была и в начале 1980-х. Но Лиханов путешествовал по прямой ветке от родной Вятки, то бишь Кирова. Мне же от моего Магнитогорска пришлось бы пересаживаться в Челябинске. Так что родителям его героя пришлось добывать билет через Героя Советского Союза, который мог пройти в кассу без очереди. И ехал лихановский персонаж, как, очевидно, и сам автор, на багажной полке. А я 28 лет спустя без особых хлопот за час с небольшим долетел в надсадно гудящем Ан-24.

Из-за тех же скорости и относительного комфорта, однако, теперь никогда не смогу написать что-либо, подобное яркой лихановской картине ночного свердловского вокзала. Нет, его прекрасную наружность я, конечно, и сам видел не раз: «...вокзал сиял дворцовыми окнами, будто там совершался великолепный бал...». И в залах ожидания – правда, на иных станциях – сживал не единожды. Но внутреннюю жизнь глазами семнадцатилетнего подростка – нет, слабó. Тем более того времени.

Ушлых и дюжих мужиков с бляхами, кладущих себе в карман деньги за, официально выражаясь, превышение нормы бесплатного провоза багажа: «...отстав от толпы, я понёс свой чемодан по слабо освещённому тоннелю в неясную для меня сторону, когда вдруг ко мне подскочил не совсем трезвый мужик в казённом фартуке... Четверо или пятеро таких же, похожих на бандюков, но с бляхами, мужчин галдели, отпуская от весов некоторых других пассажиров, в особенности старух...»

Атмосферу в зале ожидания: «...мне показалось, что я вошёл в громадный вагон: тот же смрад, тяжёлая духота, ароматы несвежих портянок и немывтого туалета... И все эти

люди, как и я, одеты в одежды тёмного цвета... хотя живём на яркой земле – только чёрное, коричневое и серое... Лица с закрытыми глазами. Будто какое-то предсмертие...»

Шайку карманников – молодых ребят и девчонок, обходящую спящих людей и «...похожую на кучку неслышных теней... они тихо прокатились по залу... Гибкие, ловкие, торопливые воры даже шелеста не издав, исчезли, будто наваждение... За дворцовыми окнами зарозовел рассвет, и люди стали оживать...»

Интересно было бы, думаю, и сегодня прочесть какой-нибудь физиологический очерк об инзанке современного вокзала. Но сами РЖД вряд ли кому такой закажут, а взявшийся по собственной инициативе, скорее всего, рискует нарваться на иски о защите репутации. Хотя как минимум внешне изменилось, безусловно, многое.

«...без всякого сочувствия...»

По меньшей мере, внешне изменился и Свердловск, вновь ставший Екатеринбургом. Хотя и мы уже не могли выйти из трамвая на некоторых остановках, знакомых лихановскому герою. Просто потому, что в первой половине 1980-х таких уже не было. Он же тогда с вокзала явно ехал по Свердлова и Толмачева мимо Вознесенской горки: «...я загляделся на высокий, с колоннами, белокаменный дом и сам себе кивнул головой, когда кондукторша трамвая объявила остановку: «Дворец пионеров». Далее, видать, пошли главные улицы и пруд, окаймлённый домами с полукруглыми или прямыми стенами – и это, я знал, была уже наша, довоенная эпоха...»

А вот первые ощущения, несмотря на разницу эпох, были схожими: «...Город за трамвайным окном не поддавался скорой привязанности.... взирал на меня без всякого сочувствия, равнодушными домами и серыми стенами...»

Для глаз романного персонажа и, видимо, самого Лиханова как уроженца старой русской Вятки были приятны иные уголки: «...деревянные домишки, почти деревенские, утопающие в зелени...»

Во мне советский магнитогорский новострой особой любви к деревенскому быту пробудить вроде не мог. И место, где в старом Екатеринбурге на Водочной улице стоял дом одного из моих прадедов, я в областном архиве, а потом и в натуре нашёл только через 25 лет. Но тоже среди главных воспоминаний о тогдашнем Свердловске – не только его столичная отстранённость, но и мощный дурман цветущей черёмухи, что росла возле деревянных двухэтажек у перекрёстка Чапаева и Декабристов.

Лихановский герой вдобавок со временем проникся чувствами к излюбленной многими Плотинке. Взгляд, конечно же, направлялся на городской пруд – Исторического сквера ещё не было: «...сумрак пока не опустился на деревья и кусты, вода ещё не зазолотилась медью угасающего светила, и пока не упал вечерний покров, перед нами предстала обычная набережная. Однако в сумерки её мир оживал... со скверами..., бренчащими трамваями, немногими тогда машинами, и превеликим множеством людей мужского и

женского рода – прежде всего удивительно незнакомых, но и каких-то похожих, не чужих, вполне родственных...»

А в уголках деревенской идиллии с тем же временем проступили знакомые и нам социальные краски. Теми же деревянными домами, по словам автора, «...этот громадный город, по ночам обжигающий тучи сиянием горячих струй металла из гигантских печей, город довоенного модерна в архитектуре, пришедшего издалека,... был переполнен... Наверное, только избранные начальники знали комфорт и всяческие удобства. Остальной миллион – или сколько там? – проживали в домишках, часто прикрытых деревянными крышами...»

Живя на первом курсе в одном из таких, Лиханов и его герой, судя по всему, уже тогда почувствовали, что «городина наш, уральский столп, был могуч и многообразен в проявлениях своих граждан, не очень-то заботясь о таких мелочах, как благосостояние отдельных из них. Особо – беззащитных...»

Домишек этих с той поры, конечно, явно поубавилось. Разница, однако, не исчезла, лишь приобрела иное измерение.

На высылках

ЕГЭ, как известно, в 1950-х не было – как, впрочем, и в 1980-х. Во время вступительных экзаменов или, как говорится, «на абитуре» тёзка разведчика жил в общежитии. Превращая аудитории в жильё, их «...освободили от столов и лавок и поставили железные армейские койки на проволочной сетке. К каждой прилагался матрац, подушка, простыня и одеяло...»

Не богаче была у героя и автора и обстановка в двухэтажной общаге 1930-х годов на улице Щорса: «Нам... достались сравнительно большие комнаты, вдоль стен которых стояли железные койки с ватными, образца тех же лет, матрасами, а посередине – сравнительно длинный, простой стол, где могли сесть сразу все жильцы, и кроватей было семь!.. Топились общаги дровами... Полубарак, полухибара, вода – только холодная да скворечник во дворе. Девчонок сюда не селили...»

К 1980-м мебель поменялась не особенно. Разве что у нас на Большакова были ещё шкафы, провонявшие отравой от тараканов, и полки для книг. Во вроде бы четырёх- и двухместные по проекту комнаты селили, соответственно, по пятеро младше- (с первого по третий) и по трое старшекурсников.

Но центральное отопление, канализация, электроплиты на кухне, потом душевой павильон построили – по сравнению с лихановской общагой вообще хоромы. А вот если помнить, что это были уже 1980-е... Кстати, наши общаги по-прежнему на месте, только как там нынче всё устроено, не знаю – с тех пор внутри не бывал.

Как могли, облагораживали. Первым делом было добыть и повесить шторы – с ними комната сразу приобретала жилой вид. А верхом достижений было снять железные спинки и поставить кровать на кирпичи. Тогда с покрывалом поверху она сразу становилась похожей на тахту...

Судя по лихановскому повествованию, в их общаге жизнь протекала без особых эксцессов. В нашей же случилось всякое. Но я об этом «всяком» тоже не особый рассказчик, поскольку, приобретя некоторый опыт, предпочитал, уйдя утром на пары, возвращаться глубоким вечером. Благо библиотека и общее с найденными вне универа друзьями дело давали такую возможность.

И жили-то, получается, несмотря на разницу в 30 лет, всё в одних и тех же местах. Щорса от Большакова недалеко, а Фрунзе с травматическим парком, о которой тоже вспоминает Лиханов, вообще рядом.

Правда, в его времена «...Щорса считалась если не местом ссылки, то добровольного изгнанничества... Жизнь на университетской Камчатке была глухой, безрадостной, особенно холодной зимой и бесконечно грязной весной, да и летом, когда часть пути приходилось одолевать по жидкому месиву...»

К нашей поре всё вроде бы наладилось, и высылками эти места уже не ощущались. Даже с учётом того, что Лиханов учился в районе нынешнего цирка, в одном из корпусов нынешнего УрГЭУ, экономического университета. А мы уже ездили на проспект Ленина, в здание возле оперного театра.

У меня, однако, имелась золотая медаль. А к таким у лихановского героя подход особый: «...Мне всегда жалковато разных там медалистов, которых зачисляли в ту пору просто так, по аттестатам, позже – после собеседования, всегда благожелательного и безотказного: как откажешь, если перед тобой «золотарь» – так именовались школяры, клеймённые золотом...»

В общем, отстой и полное фуфло. Хотя в наше время испытаний добавилось. Написал сочинение на пятёрку – добро пожаловать на борт. Четвёрка – продолжаешь на общих основаниях. Лично я в этом случае, предполагаю, на истории (так уж нам преподавали некоторые из её периодов) баллы мог и недобрать. А вот у Лиханова и его героя с историей после успешного сочинения проблем не возникло.

Ну, а собственные публикации, вырезанные из газет – это святое. Правда, в 1950-е они стали дополнительным козырем при поступлении. А в 1980-е уже были непременным условием обязательного творческого конкурса.

Сложнее процедура – надеюсь, меньше оснований для снисходительности. Тем более что льгота при поступлении обернулась добавочной тяготой после него. Это я, разумеется, про колхоз – уборку картошки, выезжать на которую все не имевшие уважительной причины студенты были обязаны в течение четырёх лет.

«По бугоркам, по низким косогорам...»

Принятые раньше других отправлялись вместе со старшекурсниками в конце августа. А те, кто прошёл все экзамены и был зачислен вновь, приезжали в начале сентября. Неделя – срок невеликий. Но для тогда шестнадцатилетнего и весьма домашнего мальчика он показался весьма продолжительным. Как, впрочем, и все последующие недели.

В государственном масштабе это было, разумеется, попыткой заткнуть экономиче-

скую дыру молодой и относительно дешёвой рабочей силой. Но называлось весьма благо-родно – студенческий уборочный отряд. То есть наподобие строительных, которые были весьма привлекательны заработком и считались одним из ярких проявлений молодёжной инициативы. Кое-что зарабатывать, в общем-то, удавалось и здесь. Случалась, насколько слышал, и добровольность – но, по-моему, не в случае с первокурсниками.

Сколько там часов длился рабочий день, не помню. С утра до вечера с перерывом на обед – и всё тут. Задача в принципе простая: убрать двести с лишним гектаров и уехать. Чем раньше – тем раньше. Но могли и застопорить, отправив на помощь другому отряду. Как легенду рассказывали, что несколькими годами ранее продержали до первых серьёзных заморозков, ударивших в начале октября.

Самой годной одеждой для таких мест и дел по-прежнему считаю ватник, самой удобной обувью – кирзовые сапоги, а наматывать портянки отец меня в своё время научил неплохо. Может, благодаря подходящей экипировке каких-либо особых погодных неудобств из 1981-го года я и не припоминаю – разве что привидение какого-то ненастного дня с обложным дождём. Зато запомнилось чувство неизбежной необходимости выдержать всё до конца, погрузившись в отупляющее монотонное чередование дней и ночей, работы в борозде, таскания вёдер с картошкой и налипшей на днища землёй и мгновенного засыпания в полностью умотанном состоянии. Да ещё особенный колхозный юмор, подчас до непроходимости грубый.

У физиков, с которыми, так получилось, отработал один из колхозных сезонов на уборке лука, шутки были потоньше. Об этом ещё долго напоминал луковый запах, который так и не выветрился из тогдашних рабочих штанов. Но как-никак август – это далеко не сентябрь.

Хотя припоминаю сейчас – может, чего и было смешного в журфаковском стёбе про некоего Перловича и летящие на юг параллелепипеды. Может, просто я, отупев от работы, не врубался.

Как бы то ни было, легендарный для многих Башлачёв мне до сих пор помнится полутрезвым колхозным грузчиком, «грызлой». А песню Макаревича про глупого скворца с того же времени терпеть не могу – так её заездили в колхозной столовой. Правда, к песенной части «народного творчества» отношусь иначе. Она была посветлей, хотя и не без той же издёвки над собой и ситуацией. Так что и сейчас готов подпеть поминающим юность однокашникам. И всё-таки простите, с кем разойдусь – без особой ностальгии. Главным осталось иное чувство: и этот экзамен всё-таки прошёл.

А вот у Альберта Лиханова и его героя такого испытания, получается, не было. Хотя других хватало выше крыши – троллейбусной, на которой он ездил «зайцем» на занятия в сорокаградусный мороз...

И общий преподаватель у нас был, если судить по роману, только один – фронтовик Борис Самуилович Коган. Нам он читал, насколько помню, спецкурс по театральной рецензии. А во времена Лиханова возглавлял кафедру партийно-советской печати. Но главный случай, в связи с которым вспоминает его писатель, повторился и у нас – как минимум отчасти.

Повторение пройденного

Автор и его герой поступили в УрГУ в год смерти Сталина. Но XX съезд КПСС, где развенчали вождя, прошёл, как помнят некоторые, в феврале 1956 года. Так что главная в их студенческой жизни политическая встряска пришлось на третий курс, когда членов партии и комсомольцев знакомили с закрытым письмом. Поначалу попытались это сделать без обсуждения.

«...Наутро комсоргов курсов и факультетов собрали на отдельное собрание и велели всякую студенческую болтовню и дурь гасить на корню. И тогда комсорги двух-трёх старших курсов, да чуть ли и не хором, заявили, что... народ бурлит, недоумевает и требует сходки... решили провести большое собрание, выпустить пар, но, как сказал какой-то взрослый умник, «в управляемом режиме»...

Управляемого не получилось, поскольку двое четверокурсников весьма эмоционально стали задавать совершенно естественные в той ситуации вопросы: а что, мол, делали соратники Сталина, где они были? Третий же вообще кричал, что «не хочет жить по-старому... Что надо больше свободы молодым! Что в комсомоле царствуют тихони, и он не похож на комсомол, который делал революцию. Начальники оторвались от молодёжи, не дают ей развернуться, проявить инициативу...»

Примерно такие же вещи, хотя и вне связи со сталинскими делами, звучали и в наше время – и даже в газетах печатались. Но что там слова! И дело похожее, как помнят современники, на журфаке в начале 1980-х разбирали.

До нас, первокурсников, тогда только отголоски долетели, а фигуранты учились на четвёртом. Помню поэтому лишь, что поводом стало письмо одного из них в Лондон Севе Новгородцеву, который вёл музыкальную передачу на Би-Би-Си – что, мол, слушаю, не отрываясь и даже не одеваясь, в одних трусах. За точность цитаты не ручаюсь – так дошло в пересказе и зацепилось в памяти.

Автору письма, очевидно, перехваченного КГБ, оно аукнулось исключением с партийного факультета, которым тогда считался журфак. А некоторым его однокурсникам, опять же особенно партийным, поскольку они отнюдь не усердствовали в осуждении любителя заграничных медиа, грозили выговора за безыдейную снисходительность к нему. Призвали, так понимаю, к ответу за потерю бдительности и факультетскую парторганизацию. Как и кого именно – надо смотреть в архивах.

В деле, о котором пишет Лиханов, судя по его словам, тоже без иностранного радио не обошлось. Хотя двух «зачинщиков» из университета, получается, не попёрли – только от журналистики отлучили. Бориса Когана, который их защищал, на время отставили от заведования кафедрой. А общественное рвение молодёжи (тоже традиционный ход) направили на благое дело – создали оперативные комсомольские отряды, которые своей многочисленностью первое время и впрямь снизили уличную преступность.

В романе писатель приводит концовку того закрытого письма, которую украдкой

переписал, знакомясь с ним в райкоме. И вспоминает своё тогдашнее недоумение: «...он как будто бы всё отрицал, этот самый финиш – вот что я понимал! Полная амнистия!..»

Сегодня, оглядываясь на то время, автор, как он сам заявил на встрече в УрФУ, спрашивает себя: всё ли сделало его поколение для того, чтобы таких повторений не было? И в том числе самим романом отвечает: «Должно ли было ожидать какого-то противления от нас нашему государственному устройству? Думаю, нет. В конечном счёте, покричав где-то, получив комсомольские выговора..., мы с этим согласились...»

Через 30 лет мы оказались в похожей ситуации. Конечно, прервавшее лекцию известие о смерти Брежнева, при котором я прожил все свои тогда почти 18 лет, рыданий не вызвало. Но встал со скамьи практически рефлекторно, и вопрос «что дальше?» в голове возник.

А дальше после некоторого перерыва было известно что – перестройка с её надеждами, вкусом свободы и обвалами. Когда перестраивать пришлось собственное представление о журналистике, обществе и жизни вообще. В том числе благодаря тому же автору – Владимиру Дудинцеву. Если в лихановском студенчестве «рванул во всех, наверное, головах сразу» его роман «Не хлебом единым», то нас настигли его «Белые одежды»...

Репетиция судьбы

Свою по-прежнему почитаемую нами фразу «Хорошо пишет тот, кто хорошо думает» памятный опять же нам публицист Анатолий Аграновский в 1950-е ещё не сказал. Но в остальном всё, что касается журналистики, очень похоже.

Те из нас, кто уже в универе почуял вкус к газетному слову и авторскому гонорару, подобно герою Лиханова, тоже хаживали в редакции – прежде всего областной молодёжной «На смену!», которая явно просматривается за описанной в романе «Засменкой». Сначала с заметками, а потом и с текстами повесомей.

И наступали на обычные для начинающих грабли, на собственной шкуре усваивая необходимость проверять факты и обуздывать фантазию: «...Газетная работа, учил нас непререкаемый Зиновий Абрамович, это не блеск, не треск, а самая что ни на есть чернуха, вполне сравнимая с трудом землекопа...»

И на летнюю практику многие из нас по заведённому предшественниками обыкновению уезжали за тридевять земель: «...Старшие курсы допускались и до столицы, ну а нам предлагалась вся страна за Уралом. Выбор места и действия как бы становится репетицией выбора судьбы...»

И заступали на полную ставку, с юным рвением и удовольствием выполняя нормы сданных собственных и авторских строк: «Мне не могло не льстить, что меня приняли за взрослого человека, готового специалиста... Я готовил чужие заметки, написанные чаще всего совершенно неграмотно, но они назывались авторскими и ценились на вес золота. Такого золота требовалось выдавать в каждом номере не меньше 60 процентов. Только 40 отдавалось штатникам...»

И потом делали себе вызовы из редакций: «...Мы считались кадрами партии, ведь все газеты принадлежали ей, до самой последней районки... некоторый припуг... всё от того же... Бориса Самуиловича. Не раз и не два он говаривал... – позаботьтесь, мол, сами о своем распределении...»

А творческие дипломы, когда можно написать, опубликовать и представить цикл, например, статей или очерков, объединённых одной концепцией и темой, начались, получается, именно тогда, в 1958-м. Лично я в 1986-м воспользовался именно такой возможностью. В том числе потому, что были идеи, которые хотелось высказать и закрепить.

Тоже оглядываясь назад, иные пытаются представить 1980-е как противостояние лишь двух человеческих групп. Мол, с одной стороны – не верящие ни во что циничные партократы. С другой – опять же не верящие в партийные лозунги диссидентствующие интеллигенты и жаждающая свободы молодёжь, увлечённая западной музыкой и протестным андеграундом.

Но ведь были ещё и как минимум третьи – те, кто пытался найти содержательное зерно, которое вроде когда-то было в тех же самых лозунгах и идеях. Кто рвался к правде без кавычек и желал собственными усилиями содействовать вроде бы общему делу, искренне удивляясь, например, почему этому противостоит цензура.

То, что произошло в 1991-м и после, сожрало и их энергию. Или вынудило потратить её на попытки удержать или по-новому собрать цельную картину мира, преодолеть пост-модернистскую рассыпуху отрывочных мыслей и человеческого разобщения. Это если не считать необходимости просто выжить.

Вместе с прежней страной, обществом и системой закончилась и прежняя журналистика. Пришла пора бизнеса, инфотейнмента и малобуквия.

Ностальгировать, полагаю, не имеет никакого смысла и здесь – равно как и брюзжать по-пензионерски. Но ведь то же самое малобуквие отнюдь не предполагает сгущения мысли. И тот же Лиханов, похоже, весьма справедливо замечает о многих: «...нынешние журфаки и их выкормыши, кроме, мягко говоря, нахальства, если не сказать наглости, как странного профессионального умения, мало чему обучены, лишь выборочно начитаны, дурно информированы, а насчет русского языка и грамотного его применения так вообще не подкованы...» Хотя относит ли он эту оценку и к нашей общей альма-матер, автор прямо не говорит.

Переходная модель

Организацию ноябрьских встреч Лиханова в Екатеринбурге взяло на себя областное отделение Российского Детского Фонда, который он создал и по-прежнему возглавляет. Кроме того, программа поездки включала рандеву с представителями власти. То есть визит был вроде бы деловой.

И всё-таки на встрече в УрФУ подумалось, что писатель действительно приехал оглядеть начало своей, что называется, сознательной жизни и подвести некоторые ито-

ги. А участие ещё нескольких представителей поколения наших отцов это ощущение подкрепило.

Тридцать лет разницы – дистанция вроде бы огромного размера. Однако роман вкупе со многими иными приметам времени показал: не так уж она и велика. Дважды прочтя, ещё яснее почувствовал переходность нашего поколения.

Мы присутствовали при завершении и сломе системы, которая сложилась гораздо раньше нас. И, получается, многие из нас теперь гораздо ближе к своим отцам, нежели нынешним медийщикам. Технологии-то освоили, тут без проблем. И степеней известных те, кто их не отвергал, достигли. А вот полностью раствориться в бессмысленной суете оказалось, по-моему, гораздо труднее.

Следующие 30 лет, минувшие после нашего выпуска, оказались куда богаче на перемены и переломы. Да так, что умение хорошо мыслить и писать сегодня уже вроде бы не особенно требуется. Или понимается под этим нынче совсем другое. И оттого ещё больше хочется верить в наличие ниш, где такое умение всё ещё необходимо.

А вопрос о том, всё ли мы сделали, чтобы сегодняшнее время оказалось лучше, теперь уже стоит перед нами. Как, впрочем, и перед нынешними выпускниками.